

Толстого; стилистику позднего Толстого отличает аскетическая строгость и почти фантастическая скупость приемов, антикнижность, антилитературность, достигающие кульминации в рассказе «Алеша Горшок», которым восхищался Александр Блок), они все же состоят в отдаленном родстве, своеобразно дополняя друг друга, соприкасаясь, спрягаясь, как сложным образом пересекаются и мотивы повестей «Кроткая» и «Крейцера соната».

Соблазнительно было бы провести параллели между судебными страницами «Братьев Карамазовых» и «Воскресения», но приходится ограничиться содержанием только первого тома романа Достоевского — второй Толстой, по-видимому, так и не успел прочесть. Но как раз в первом томе яснее всего очерчена собственно романическая интрига, главными героями которой являются Дмитрий Карамазов и Грушенька. Вряд ли эпизоды этого «любовного» романа заинтересовали Толстого, он в последние годы к традиционным литературным мотивам относился отрицательно, часто был чрезмерно ригористичен, а к литературной технике Достоевского был особенно нетерпим. Стилль Достоевского представлялся ему сверх всякой меры искусственным и мелодраматичным, наверняка раздражали страстные монологи и особенный «метафорический» язык (более всего как раз присущий Дмитрию Карамазову), вряд ли понравились и опереточные, всячески поносимые и унижаемые польские пань. И все же один мотив, так ясно и ярко очерченный в книге девятой «Предварительное следствие», мотив противостояния частного человека и охранительной, безжалостной государственной чиновничьей машины не мог не привлечь внимания Толстого, автора «Живого трупа» и «Воскресения». Даже специфический символично-метафорический образный ряд здесь вряд ли вызывал у него раздражение, разве что, если бы вдруг пришлось готовить какой-то фрагмент для «Круга чтения», он подверг бы текст повсеместной и значительной правке, сократив и упростив. И это был бы уже его рассказ, утративший неповторимые приметы стиля Достоевского.

Мотив противостояния, жестокой и неравной борьбы разработан в романе Достоевского в разных плоскостях. Это и символический пророческий сон, рельефное изображение страха (на свой криминальный лад расшифрованный сыском): «Слушаю я вас, и мне мерещится... я, видите, вижу иногда во сне один сон... один такой сон, и он мне часто снится, повторяется, что кто-то за мной гонится, кто-то такой, которого я ужасно боюсь, гонится в темноте, ночью, ищет меня, а я прячусь куда-нибудь от него за дверь или за шкаф, прячусь унижительно, а главное, что ему отлично известно, куда я от него спрятался, но что он будто бы нарочно притворяется, что не знает, где я сижу, чтобы дольше промучить меня, чтобы страхом моим насладиться... Вот это и вы теперь делаете! На то похоже!» (14, 424). Сон «кафкианский», уже превратившийся в действительность, о чем с грустью говорит преследователям Митя, употребляя еще одну метафору: «Теперь уж не сон! Реализм, господа, реализм действительной жизни! Я волк, а вы охотники, ну и травите волка» (там же).

Все попытки Мити разрушить стену между ним и ведущими следствие чиновниками, просьба отбросить прочь «крючкотворные мелочи», «казенщину допроса» оказываются тщетными, рассыпаются в прах. Напрасно он пытается убедить их в своей искренности и благороднейших порывах души, в театральном стиле объявляя: «Вы имеете дело с таким подсудимым, который сам на себя показывает, во вред себе показывает. Да-с, ибо я рыцарь чести, а вы — нет!» (14, 427). Все эти риторические излияния эмоционального и многословного преступника абсолютно не производят впечатления на ведущих допрос и профессионально строго придерживающихся определенных форм и правил («казенщины») прокурора и следователей. Они слушают